

Расползание зоны

Суть того, о чем мне нехотя приходится писать, яснее всего выражена в последних строках статьи Константина Кедрова (“Иван Денисович Цинцинатов”. “Русский курьер”, № 45, 4 марта 2004 г.):

“Мир не понял Ивана Денисовича. Это сугубо русский характер. Достойный мужской напарник Матрены. Так сказать, ее духовный супруг. Заподозрить Ивана Денисовича и Матрену в какой-либо телесности просто немислимо. То, что Иван Денисович – тупое лагерное животное, способное думать только о пище, критика, конечно, объяснила лагерными условиями. Однако я не в состоянии представить себе Ивана Денисовича на воле, читающим какую-либо книгу. А ведь он и в школе учился, и грамоте обучен. Иван Денисович все тот же образчик сентиментально-садистической и сентиментально-мазохистской традиции русской литературы, которая всегда умилялась убожеством, да еще и подражала ему. Достоевский выдумал кроткого мужичка Марья, Толстой – Платона Каратаева, Пушкин – Савельича. У Солженицына правды больше. Его Денисовича в преданности не заподозришь, скорее в предательстве. Впрочем, Шухову некого предавать, поскольку он никому никогда не был предан. Преданность – выдумка русских писателей. Мечта барина о любящем и покорном рабе. После Солженицына хотелось бы хоть пару слов о Набокове. Но для этого предметом разговора должно быть что-то равновеликое. Лучше всего „Приглашение на казнь”. Вот и сравнили бы тюрьму „агностика” Цинцината с концлагерем Ивана Денисовича. Солженицына с Набоковым. Варварство с цивилизацией. Духовное рабство с духовной свободой. Интеллигентность с хамством и хамство с интеллигентностью. Но ритуал повелевает восхищаться и умиляться всем, что „у нас”, и, по крайней мере, с подозрением посматривать на всё, что „у них”, даже если это сугубо „наш” Набоков. Подведем итог. Двадцатый век позади. А литература его пока впереди”.

С такой наглостью даже незабвенный Жданов не приступал к критике Ахматовой. Я рискую попасть в смешное положение, защищая от Кедрова Пушкина, Достоевского и Толстого. Их уже сбрасывали с корабля современности... Но дело не в Пушкине и даже не в Кедрове. Дело в бесцеремонности, ставшей общим стилем общественной жизни. От куч мусора на опушках подмосковных лесов она поднялась до недостижимых высот. Она стала народной, и, когда лагерная лексика несется в эфир, она только поднимает рейтинг. Когда я слушаю прения политических деятелей, мне кажется, что я помолодел на полвека. А то, что я вышел из зоны по ворошиловской амнистии 1953 года, только сон на нарах.

Я все-таки вышел. Но вслед за мной, шаг за шагом, выходила зона. Сперва особенные лагерные словечки поразили меня в устах ухоженных розовощеких мальчиков на крыльце школы – все-таки только на крыльце, а не в актовом зале. Но потом процесс пошел по экспоненте, ненормативная лексика покатила лавиной, и я не удивлюсь, если английскую моду заменит итальянская, и мы услышим что-то вроде “мадонна путана”. Нет ничего святого для постмодерна, и в лагерях я не раз слышал: на том месте, где была совесть, вырос... (далее коротко и ненормативно).

Кедров (или Березин, или Дубов, или Елкин) думают, что бесцеремонность только средство, что цель свята (так и Ленин думал). Их окрыляет вера, что светлое будущее метафоры (или евразийской цивилизации) затмит “Братьев Карамазовых”. Но в моей голове возникло мнение (и я его придерживаюсь лет тридцать), что стиль полемики важнее предмета полемики, что именно стиль создает цивилизацию, а не граница по Большому Кавказскому хребту. И задача России – сохранить культурное наследие и по мере сил развивать его, хотя бы и так, как Набоков. Но беда в том, что Кедров и прочие наследуют у Набокова не гений, создавший “Озеро, облако, башню”, а бесцеремонность, с которой Набоков разделялся с Достоевским, Пастернаком, Цветаевой...

К сожалению, это тоже традиция, и от нее мы не отказываемся. “Нет, что бы вы ни сказали, я ни за что с вами не соглашусь!” – сказал, упиваясь своей правотой, Белинский. А Достоевский каялся: “Всегда и во всем я через черту переходил”. Всегда и во всем мы через черту переходим, ликвидируем зло как класс, до основания, а затем – сами удивляемся, как это оказались в грязи по пояс, по шею, по подбородок. Ведь мы боролись – за чистоту...

Есть несколько вещей, в которых Толстой, великий ересиарх, был прав: средства важнее цели, стиль борьбы важнее победы или поражения (вторая формулировка принадлежит мне). Предмет полемики, начатой Кедровым, был совершенно невинным. Ему не понравился сборник “Русская проза XX века. Библиотека школьника”. Он убежден, что школьники не будут читать “Один день Ивана Денисовича”. Но рассказ написан в духе русской классики. И вот – вся традиция летит под откос.

Между тем проблема, поднятая Кедровым, имеет, как сказал бы Ленин, рациональное зерно. То, что когда-то потрясло Россию, стало фактом истории. Школьник не сразу все поймет. Надо бы учителю кое-что разъяснить. После нескольких десятков лет лжи простая, нехитрая правда потрясла, захватила, увлекла. Даже не самой собой (факты многие знали), а то, что это показалось началом покаяния. Это был несостоявшийся поворот русской истории – и надо знать свою историю, а не поплевывать. У меня сложное отношение к Солженицыну, но первые рассказы его – историческое событие. Так же как другим событием стал “Архипелаг”. В советское окно попал камешек и разбил стекло. Показалось, что от дырки во все стороны пойдут трещины, – и вся пирамида лжи развалится на части...

Я читал и вспоминал соседа по нарам, Василия Ивановича Коршунова: вылитый Иван Денисович. По вечерам мы пили с ним чай, и я привязался к старику. Возможность встретить в деревне, среди грубых соседей, благородный характер, вроде Матрены, я тоже знал. Две сестры, а разница между ними – как между королевой в изгнании и горничной. Хотя образование королевы в застиранных платьях – два класса. Откуда взялась ее аристократическая сдержанность жестов, душевных движений? Один Бог знает. Бывает какой-то врожденный аристократизм и врожденная же вульгарность. Помню язвительное замечание моего друга об известном советском писателе: “До этого графа у нас не было хама в русской литературе...”

Ранние рассказы Солженицына – почти очерки, репортажи. Но искусство там есть, тонкое и продуманное. На первом плане подчеркнута рядовой мужик, один из миллионов мужиков, которых уничтожал Сталин. Постепенно внимательный читатель улавливал, что незримый антигерой – Сталин. Без всяких рассуждений становится ясно, что террор Сталина направлен был против народа, что он народ уничтожал (или загонял в рабство), и массой “политических заключенных” были рядовые русские люди (хотя интеллигентов или иностранцев тоже хватало).

Масштабы трагедии, поразившей страну после XX съезда, сразу удесятерились, не только в Эйхе дело и не только в Тухачевском. Второстепенные по сюжету, но очень важные по замыслу персонажи несколькими словами (или даже без слов) рассказывают о коллективизации, прошедшей по деревням, как чума, о реликтовых фигурах старых интеллигентов, сохранивших и в лагере свои привычки чистоплотности (угадываешь: не только физической, но и нравственной). Хороший учитель может воспользоваться этим текстом лучше, чем унифицированным учебником.

А в “Матренином дворе” – другая сторона правды: что и народу палец в рот не клади. Где там Кедров увидел идеализацию? Матрена так же одинока среди односельчан, как Сахаров – в Академии наук. Элита создается не образованием, а совестью, совестью, неизвестно откуда взявшейся, неизвестно как сохранившейся (Достоевский считал ее действием Бога в человеческой душе). В эту элиту входит и неграмотный Аким, и граф Лев Николаевич Толстой, создавший запоминающийся образ почти бессловесной совести. А идеализации классики избегали просто – контрастными парами характеров: Савельичу противостоит Пугачев, Платону Каратаеву – Тихон

Щербатый. Достоевский вытаскивает из детской памяти мимолетную встречу с Мареем, но это в “Дневнике писателя”, для поддержки схемы, а в романе у Алеши Карамазова единокровный брат – Смердяков...

Кедров все это забывает, он верен только одной традиции – захлебыванию в полемике. Можно подумать, что это в генах... Но нет! Был же Владимир Короленко, никогда не захлебывавшийся в споре. Недавно умер Сергей Аверинцев, мы перекликались с ним лет 35, очень часто расходились во взглядах на вещи, ей-Богу, более важные, чем метафоры, и никогда не допуская ни тени личной ненависти к оппоненту, всегда сохраняя любовь и уважение друг к другу. Сережа не раз повторял: люди разные, не сводятся к одному, и через различия проходит любовь. Даже через различия во взглядах на Бога.

Я думаю, что Богу эти различия не очень важны. И Его образ и подобие хочется чаще вспоминать в наших спорах. Не только литературных.

Расползание зоны

Суть того, о чем мне нехотя приходится писать, яснее всего выражена в последних строках статьи Константина Кедрова (“Иван Денисович Цинцинатов”. “Русский курьер”, № 45, 4 марта 2004 г.):

“Мир не понял Ивана Денисовича. Это сугубо русский характер. Достойный мужской напарник Матрены. Так сказать, ее духовный супруг. Заподозрить Ивана Денисовича и Матрену в какой-либо телесности просто немислимо. То, что Иван Денисович – тупое лагерное животное, способное думать только о пище, критика, конечно, объяснила лагерными условиями. Однако я не в состоянии представить себе Ивана Денисовича на воле, читающим какую-либо книгу. А ведь он и в школе учился, и грамоте обучен. Иван Денисович все тот же образчик сентиментально-садистической и сентиментально-мазохистской традиции русской литературы, которая всегда умилялась убожеством, да еще и подражала ему. Достоевский выдумал кроткого мужичка Марья, Толстой – Платона Каратаева, Пушкин – Савельича. У Солженицына правды больше. Его Денисовича в преданности не заподозришь, скорее в предательстве. Впрочем, Шухову некого предавать, поскольку он никому никогда не был предан. Преданность – выдумка русских писателей. Мечта барина о любящем и покорном рабе. После Солженицына хотелось бы хоть пару слов о Набокове. Но для этого предметом разговора должно быть что-то равновеликое. Лучше всего „Приглашение на казнь”. Вот и сравнили бы тюрьму „агностика” Цинцината с концлагерем Ивана Денисовича. Солженицына с Набоковым. Варварство с цивилизацией. Духовное рабство с духовной свободой. Интеллигентность с хамством и хамство с интеллигентностью. Но ритуал повелевает восхищаться и умиляться всем, что „у нас”, и, по крайней мере, с подозрением посматривать на всё, что „у них”, даже если это сугубо „наш” Набоков. Подведем итог. Двадцатый век позади. А литература его пока впереди”.

С такой наглостью даже незабвенный Жданов не приступал к критике Ахматовой. Я рискую попасть в смешное положение, защищая от Кедрова Пушкина, Достоевского и Толстого. Их уже сбрасывали с корабля современности... Но дело не в Пушкине и даже не в Кедрове. Дело в бесцеремонности, ставшей общим стилем общественной жизни. От куч мусора на опушках подмосковных лесов она поднялась до недосягаемых высот. Она стала народной, и, когда лагерная лексика несется в эфир, она только поднимает рейтинг. Когда я слушаю прения политических деятелей, мне кажется, что я помолодел на полвека. А то, что я вышел из зоны по ворошиловской амнистии 1953 года, только сон на нарах.

Я все-таки вышел. Но вслед за мной, шаг за шагом, выходила зона. Сперва особенные лагерные словечки поразили меня в устах ухоженных розовощеких мальчиков на крыльце школы – все-таки только на крыльце, а не в актовом зале. Но потом процесс пошел по экспоненте, ненормативная лексика покатила лавиной, и я не удивлюсь, если английскую моду заменит итальянская, и мы услышим что-то вроде “мадонна путана”. Нет ничего святого для постмодерна, и в лагерях я не раз слышал: на том месте, где была совесть, вырос... (далее коротко и ненормативно).

Кедров (или Березин, или Дубов, или Елкин) думают, что бесцеремонность только средство, что цель свята (так и Ленин думал). Их окрыляет вера, что светлое будущее метафоры (или евразийской цивилизации) затмит “Братьев Карамазовых”. Но в моей голове возникло мнение (и я его придерживаюсь лет тридцать), что стиль полемики важнее предмета полемики, что именно стиль создает цивилизацию, а не граница по Большому Кавказскому хребту. И задача России – сохранить культурное наследие и по мере сил развивать его, хотя бы и так, как Набоков. Но беда в том, что Кедров и прочие наследуют у Набокова не гений, создавший “Озеро, облако, башню”, а бесцеремонность, с которой Набоков разделялся с Достоевским, Пастернаком, Цветаевой...

К сожалению, это тоже традиция, и от нее мы не отказываемся. “Нет, что бы вы ни сказали, я ни за что с вами не соглашусь!” – сказал, упиваясь своей правотой, Белинский. А Достоевский каялся: “Всегда и во всем я через черту переходил”. Всегда и во всем мы через черту переходим, ликвидируем зло как класс, до основания, а затем – сами удивляемся, как это оказались в грязи по пояс, по шею, по подбородок. Ведь мы боролись – за чистоту...

Есть несколько вещей, в которых Толстой, великий ересиарх, был прав: средства важнее цели, стиль борьбы важнее победы или поражения (вторая формулировка принадлежит мне). Предмет полемики, начатой Кедровым, был совершенно невинным. Ему не понравился сборник “Русская проза XX века. Библиотека школьника”. Он убежден, что школьники не будут читать “Один день Ивана Денисовича”. Но рассказ написан в духе русской классики. И вот – вся традиция летит под откос.

Между тем проблема, поднятая Кедровым, имеет, как сказал бы Ленин, рациональное зерно. То, что когда-то потрясло Россию, стало фактом истории. Школьник не сразу все поймет. Надо бы учителю кое-что разъяснить. После нескольких десятков лет лжи простая, нехитрая правда потрясла, захватила, увлекла. Даже не самой собой (факты многие знали), а то, что это показалось началом покаяния. Это был несостоявшийся поворот русской истории – и надо знать свою историю, а не поплевывать. У меня сложное отношение к Солженицыну, но первые рассказы его – историческое событие. Так же как другим событием стал “Архипелаг”. В советское окно попал камешек и разбил стекло. Показалось, что от дырки во все стороны пойдут трещины, – и вся пирамида лжи развалится на части...

Я читал и вспоминал соседа по нарам, Василия Ивановича Коршунова: вылитый Иван Денисович. По вечерам мы пили с ним чай, и я привязался к старику. Возможность встретить в деревне, среди грубых соседей, благородный характер, вроде Матрены, я тоже знал. Две сестры, а разница между ними – как между королевой в изгнании и горничной. Хотя образование королевы в застиранных платьях – два класса. Откуда взялась ее аристократическая сдержанность жестов, душевных движений? Один Бог знает. Бывает какой-то врожденный аристократизм и врожденная же вульгарность. Помню язвительное замечание моего друга об известном советском писателе: “До этого графа у нас не было хама в русской литературе...”

Ранние рассказы Солженицына – почти очерки, репортажи. Но искусство там есть, тонкое и продуманное. На первом плане подчеркнута рядовой мужик, один из миллионов мужиков, которых уничтожал Сталин. Постепенно внимательный читатель улавливал, что незримый антигерой – Сталин. Без всяких рассуждений становится ясно, что террор Сталина направлен был против народа, что он народ уничтожал (или загонял в рабство), и массой “политических заключенных” были рядовые русские люди (хотя интеллигентов или иностранцев тоже хватало).

Масштабы трагедии, поразившей страну после XX съезда, сразу удесятерились, не только в Эйхе дело и не только в Тухачевском. Второстепенные по сюжету, но очень важные по замыслу персонажи несколькими словами (или даже без слов) рассказывают о коллективизации, прошедшей по деревням, как чума, о реликтовых фигурах старых интеллигентов, сохранивших и в лагере свои привычки чистоплотности (угадываешь: не только физической, но и нравственной). Хороший учитель может воспользоваться этим текстом лучше, чем унифицированным учебником.

А в “Матренином дворе” – другая сторона правды: что и народу палец в рот не клади. Где там Кедров увидел идеализацию? Матрена так же одинока среди односельчан, как Сахаров – в Академии наук. Элита создается не образованием, а совестью, совестью, неизвестно откуда взявшейся, неизвестно как сохранившейся (Достоевский считал ее действием Бога в человеческой душе). В эту элиту входит и неграмотный Аким, и граф Лев Николаевич Толстой, создавший запоминающийся образ почти бессловесной совести. А идеализации классики избегали просто – контрастными парами характеров: Савельичу противостоит Пугачев, Платону Каратаеву – Тихон

Щербатый. Достоевский вытаскивает из детской памяти мимолетную встречу с Мареем, но это в “Дневнике писателя”, для поддержки схемы, а в романе у Алеши Карамазова единокровный брат – Смердяков...

Кедров все это забывает, он верен только одной традиции – захлебыванию в полемике. Можно подумать, что это в генах... Но нет! Был же Владимир Короленко, никогда не захлебывавшийся в споре. Недавно умер Сергей Аверинцев, мы перекликались с ним лет 35, очень часто расходились во взглядах на вещи, ей-Богу, более важные, чем метафоры, и никогда не допуская ни тени личной ненависти к оппоненту, всегда сохраняя любовь и уважение друг к другу. Сережа не раз повторял: люди разные, не сводятся к одному, и через различия проходит любовь. Даже через различия во взглядах на Бога.

Я думаю, что Богу эти различия не очень важны. И Его образ и подобие хочется чаще вспоминать в наших спорах. Не только литературных.

Расползание зоны

Суть того, о чем мне нехотя приходится писать, яснее всего выражена в последних строках статьи Константина Кедрова (“Иван Денисович Цинцинатов”. “Русский курьер”, № 45, 4 марта 2004 г.):

“Мир не понял Ивана Денисовича. Это сугубо русский характер. Достойный мужской напарник Матрены. Так сказать, ее духовный супруг. Заподозрить Ивана Денисовича и Матрену в какой-либо телесности просто немислимо. То, что Иван Денисович – тупое лагерное животное, способное думать только о пище, критика, конечно, объяснила лагерными условиями. Однако я не в состоянии представить себе Ивана Денисовича на воле, читающим какую-либо книгу. А ведь он и в школе учился, и грамоте обучен. Иван Денисович все тот же образчик сентиментально-садистической и сентиментально-мазохистской традиции русской литературы, которая всегда умилялась убожеством, да еще и подражала ему. Достоевский выдумал кроткого мужичка Марья, Толстой – Платона Каратаева, Пушкин – Савельича. У Солженицына правды больше. Его Денисовича в преданности не заподозришь, скорее в предательстве. Впрочем, Шухову некого предавать, поскольку он никому никогда не был предан. Преданность – выдумка русских писателей. Мечта барина о любящем и покорном рабе. После Солженицына хотелось бы хоть пару слов о Набокове. Но для этого предметом разговора должно быть что-то равновеликое. Лучше всего „Приглашение на казнь”. Вот и сравнили бы тюрьму „агностика” Цинцината с концлагерем Ивана Денисовича. Солженицына с Набоковым. Варварство с цивилизацией. Духовное рабство с духовной свободой. Интеллигентность с хамством и хамство с интеллигентностью. Но ритуал повелевает восхищаться и умиляться всем, что „у нас”, и, по крайней мере, с подозрением посматривать на всё, что „у них”, даже если это сугубо „наш” Набоков. Подведем итог. Двадцатый век позади. А литература его пока впереди”.

С такой наглостью даже незабвенный Жданов не приступал к критике Ахматовой. Я рискую попасть в смешное положение, защищая от Кедрова Пушкина, Достоевского и Толстого. Их уже сбрасывали с корабля современности... Но дело не в Пушкине и даже не в Кедрове. Дело в бесцеремонности, ставшей общим стилем общественной жизни. От куч мусора на опушках подмосковных лесов она поднялась до недостижимых высот. Она стала народной, и, когда лагерная лексика несется в эфир, она только поднимает рейтинг. Когда я слушаю прения политических деятелей, мне кажется, что я помолодел на полвека. А то, что я вышел из зоны по ворошиловской амнистии 1953 года, только сон на нарах.

Я все-таки вышел. Но вслед за мной, шаг за шагом, выходила зона. Сперва особенные лагерные словечки поразили меня в устах ухоженных розовощеких мальчиков на крыльце школы – все-таки только на крыльце, а не в актовом зале. Но потом процесс пошел по экспоненте, ненормативная лексика покатила лавиной, и я не удивлюсь, если английскую моду заменит итальянская, и мы услышим что-то вроде “мадонна путана”. Нет ничего святого для постмодерна, и в лагерях я не раз слышал: на том месте, где была совесть, вырос... (далее коротко и ненормативно).

Кедров (или Березин, или Дубов, или Елкин) думают, что бесцеремонность только средство, что цель свята (так и Ленин думал). Их окрыляет вера, что светлое будущее метафоры (или евразийской цивилизации) затмит “Братьев Карамазовых”. Но в моей голове возникло мнение (и я его придерживаюсь лет тридцать), что стиль полемики важнее предмета полемики, что именно стиль создает цивилизацию, а не граница по Большому Кавказскому хребту. И задача России – сохранить культурное наследие и по мере сил развивать его, хотя бы и так, как Набоков. Но беда в том, что Кедров и прочие наследуют у Набокова не гений, создавший “Озеро, облако, башню”, а бесцеремонность, с которой Набоков разделялся с Достоевским, Пастернаком, Цветаевой...

К сожалению, это тоже традиция, и от нее мы не отказываемся. “Нет, что бы вы ни сказали, я ни за что с вами не соглашусь!” – сказал, упиваясь своей правотой, Белинский. А Достоевский каялся: “Всегда и во всем я через черту переходил”. Всегда и во всем мы через черту переходим, ликвидируем зло как класс, до основания, а затем – сами удивляемся, как это оказались в грязи по пояс, по шею, по подбородок. Ведь мы боролись – за чистоту...

Есть несколько вещей, в которых Толстой, великий ересиарх, был прав: средства важнее цели, стиль борьбы важнее победы или поражения (вторая формулировка принадлежит мне). Предмет полемики, начатой Кедровым, был совершенно невинным. Ему не понравился сборник “Русская проза XX века. Библиотека школьника”. Он убежден, что школьники не будут читать “Один день Ивана Денисовича”. Но рассказ написан в духе русской классики. И вот – вся традиция летит под откос.

Между тем проблема, поднятая Кедровым, имеет, как сказал бы Ленин, рациональное зерно. То, что когда-то потрясло Россию, стало фактом истории. Школьник не сразу все поймет. Надо бы учителю кое-что разъяснить. После нескольких десятков лет лжи простая, нехитрая правда потрясла, захватила, увлекла. Даже не самой собой (факты многие знали), а то, что это показалось началом покаяния. Это был несостоявшийся поворот русской истории – и надо знать свою историю, а не поплевывать. У меня сложное отношение к Солженицыну, но первые рассказы его – историческое событие. Так же как другим событием стал “Архипелаг”. В советское окно попал камешек и разбил стекло. Показалось, что от дырки во все стороны пойдут трещины, – и вся пирамида лжи развалится на части...

Я читал и вспоминал соседа по нарам, Василия Ивановича Коршунова: вылитый Иван Денисович. По вечерам мы пили с ним чай, и я привязался к старику. Возможность встретить в деревне, среди грубых соседей, благородный характер, вроде Матрены, я тоже знал. Две сестры, а разница между ними – как между королевой в изгнании и горничной. Хотя образование королевы в застиранных платьях – два класса. Откуда взялась ее аристократическая сдержанность жестов, душевных движений? Один Бог знает. Бывает какой-то врожденный аристократизм и врожденная же вульгарность. Помню язвительное замечание моего друга об известном советском писателе: “До этого графа у нас не было хама в русской литературе...”

Ранние рассказы Солженицына – почти очерки, репортажи. Но искусство там есть, тонкое и продуманное. На первом плане подчеркнута рядовой мужик, один из миллионов мужиков, которых уничтожал Сталин. Постепенно внимательный читатель улавливал, что незримый антигерой – Сталин. Без всяких рассуждений становится ясно, что террор Сталина направлен был против народа, что он народ уничтожал (или загонял в рабство), и массой “политических заключенных” были рядовые русские люди (хотя интеллигентов или иностранцев тоже хватало).

Масштабы трагедии, поразившей страну после XX съезда, сразу удесятерились, не только в Эйхе дело и не только в Тухачевском. Второстепенные по сюжету, но очень важные по замыслу персонажи несколькими словами (или даже без слов) рассказывают о коллективизации, прошедшей по деревням, как чума, о реликтовых фигурах старых интеллигентов, сохранивших и в лагере свои привычки чистоплотности (угадываешь: не только физической, но и нравственной). Хороший учитель может воспользоваться этим текстом лучше, чем унифицированным учебником.

А в “Матренином дворе” – другая сторона правды: что и народу палец в рот не клади. Где там Кедров увидел идеализацию? Матрена так же одинока среди односельчан, как Сахаров – в Академии наук. Элита создается не образованием, а совестью, совестью, неизвестно откуда взявшейся, неизвестно как сохранившейся (Достоевский считал ее действием Бога в человеческой душе). В эту элиту входит и неграмотный Аким, и граф Лев Николаевич Толстой, создавший запоминающийся образ почти бессловесной совести. А идеализации классики избегали просто – контрастными парами характеров: Савельичу противостоит Пугачев, Платону Каратаеву – Тихон

Щербатый. Достоевский вытаскивает из детской памяти мимолетную встречу с Мареем, но это в “Дневнике писателя”, для поддержки схемы, а в романе у Алеши Карамазова единокровный брат – Смердяков...

Кедров все это забывает, он верен только одной традиции – захлебыванию в полемике. Можно подумать, что это в генах... Но нет! Был же Владимир Короленко, никогда не захлебывавшийся в споре. Недавно умер Сергей Аверинцев, мы перекликались с ним лет 35, очень часто расходились во взглядах на вещи, ей-Богу, более важные, чем метафоры, и никогда не допуская ни тени личной ненависти к оппоненту, всегда сохраняя любовь и уважение друг к другу. Сережа не раз повторял: люди разные, не сводятся к одному, и через различия проходит любовь. Даже через различия во взглядах на Бога.

Я думаю, что Богу эти различия не очень важны. И Его образ и подобие хочется чаще вспоминать в наших спорах. Не только литературных.